

Известный писатель Габриэль Гарсиа Маркес:

Цветут красные гвоздики

ПЕРВЫЙ РАЗ я приехал в Россию на московский фестиваль молодежи. Вступил на землю, опаленную войной, и, находясь среди героических защитников, сбросивших фашизм, я с особой проникновенностью почувствовал, почему молодежи всей планеты так необходим этот прекрасный мир.

В то время мы, иностранцы, привлекали огромное внимание. Во время наших прогулок нас обступали непроницаемой стеной. Я думаю, не просто поглядеть и полюбоваться национальной одеждой, а поговорить. Я повсюду слышал оживленные, шумные споры. А сейчас к толпе иностранцев, фланирующей по московским улицам, нет тех любопытствующих взглядов, чувствуется, что все освоилось и привыкло. Несмотря на это, люди стали симпатичнее, красивее и приятнее. Должен отметить, за эти годы заметно улучшилась архитектура, появились отличные современные здания. Москва полностью оправилась от войны, и заметно прочное, высокое экономическое положение.

А тогда, 22 года тому назад, гостиница в Останкино была в окружении множества бревенчатых деревянных маленьких домов. Я их видел, сидя на пахнущих свежестью сосновых досках грузовика, когда нас везли на открытие фестиваля по проспекту Мира. Я помню, как у одного домика впритык к маленькому палисаднику стоял трактор, а хозяйка-старуха в белом платке, надвинутом на самые глаза, стояла с топором перед почерневшим от времени домом, где, возможно, смеялось не одно поколение. Мы проехали, но перед глазами застыла старуха и ее бревенчатый домик. Москва на окраине выглядела, жила тогда, как большая деревня. Я утром проснулся от крика петуха, он голосисто заливался где-то вблизи, а мои мысли уносились за тысячи километров к Аракате, небольшому городку Атлантического побережья, к моей бабушке Транкилине, худощавой и изящной, всегда ходившей в черной широкой пышной юбке, в черной блузе с яркими пуговицами, над проседью красовался кружевной черный платок.

В старинном доме, обросшем плющом, было уютно. Стены, потрескавшиеся от времени, вечерами принимали причудливые формы, и каждый вечер бабушка, точно фарфоровую игрушку, заботливо и осторожно легкими и нежными движениями рук переносила меня в белую полотняную рубашку. Перед сном мы оба становились на колени к алтарю, прислоненному к ножкам моей кровати. На алтаре восседали из красной глины божеества, а их округлые ока из блестящих ракушек в полумраке светили, поблескивали перламутром пуговицы на бабушкиной блузе. Она страстно молилась, и я верил святым ликам, бабушкиным молитвам, каждому ее слову, жесту, взгляду, всему ее существу. С трудом приподнявшись, она вела меня к кровати, укладывала на жесткие белоснежные простыни. Сидя у изголовья, она пристально смотрела мне в глаза и начинала заговаривать чуть глуховатым голосом. Химеры, черти, мертвецки летали на облаках, чудиха и змеи говорили человеческим голосом, и мне казалось, я попал в волшебный сон и не мог выбраться, все кружилось вокруг меня, меня подхватывали могучие кони, наделенные богатирской силой. Я хочу крикнуть, но уже погружался в настоящий сон. А спал всегда крепко.

А на рассвете дед Николас и меня будил наш горделивый любимец черный петух. Мы его баловали, кормили соевыми орешками. Я рассказывал о жутких бабушкиных сказках, дед смеялся и уверял меня не верить в привидения. Вынырнувшее солнце било в глаза, и сквозь листву, где мягко колысались зеленые ветки, после ночного дождя все ожило, сверкало, и видения мгновенно исчезали. Вошли в привычку до завтрака прогулки к небольшой площади. Кроме нас, там никто не проходил. Взгляд деду скользил по всем уголкам, что вели к площади. Он надеялся каждый раз, что появится хоть кто-нибудь из его друзей, наверняка из тех, кто находился в ссылке. Прикапывала карета с почтой, и дед, ожидая письма, понуро и долго стоял, когда карета уже мчалась в противоположную сторону. Насколько я помню, дед никогда не получал писем...

Дни весенние, летние, осенние выстраиваются в моей памяти, как одинаковые, равные, тяжкие версты от дома к площади, от площади к дому. Тускло, без выражения дед шептал: «Пора, пошли домой». Лилась вода с небес, дед водил пальцем по воде и спрашивал, что думают о нем рыбки. Но это были не золотые рыбки с изумрудными глазами, что приносились в жертву речным божеествам индейцами из племени чичба, давно канувшими в вечность. Обычные рыбки молчали.

От непрерывных дождей слетали пожелтевшие листья, они сырели и гнили. Чрезмерно обостренным обонянием уже издали ощущал удивительный смрад и спрашивал каждый раз деду: «Почему не убирают их с дороги?» А он шел, как всегда, не замечая, не чувствуя, не отвечая, тупо спотыкаясь о придорожные камни.

Послушали бы, как говорила о нем бабушка. «Клянусь всевышним. Это великий человек!» Я пытался представить себе, каким был молодой мой дед. Темные блестящие волосы, гладкое лицо, твердая рука. Но не мог связать шупленького старичка с легендарной фигурой героя гражданской войны в Колумбии. Он был верен себе до последнего, ходил на площадь, ожидая друзей и писем.

МНЕ ШЕЛ девятый год, когда не стало деду. Все померкло, не было уже того удивительного, необычного и чудесного. Мне исполнилось 13 лет, и мы переехали в Боготу. Я жил воспоминаниями о том большом удивительном доме, где было страшно, но так прекрасно, где я постигал непреходящее в переходящем. Мне до сих пор снится поляна, на



И потому я своим читателям через вашу газету рисую символично эту красную гвоздику.

которой гарцевал наш черный петух, где росли желтые махонькие цветочки и облетали их мохнатые желтые бабочки. А над ними иссиня-синее небо моего детства.

Все происходящее в «Палой листве» жило во мне с детства. Я задумал описать это еще в семнадцать лет, но был далек от опытен и лишь в 1955 году смог переступить порог литературы. И персонажи реальные, и поселок, куда пришла пресловутая банановая «Юнайтед фрут компани», принесшая каторжный труд и нищету в лачуги, бежалостно ограбив и разрушив поселок, она растила и опустошила души человеческие. Это дань тем, кто мог стать и великим ученым, и замечательным врачом. Все люди на свете озарены талантом, но их обрекли и загубили. Они ушли в небытие, не сказав своего слова. Я помню всех тех, кого знал и любил.

Вымышленный Макондо в моих книгах с этого времени — всегда действующее лицо во всех моих произведениях. Десятки исследователей писали о Макондо, родившемся в первые дни творения в тропической глуши, оторванной от всего мира. Макондо — это сегодняшний день Латинской Америки и ее современные проблемы, ибо до сих пор тысячи подобных поселков продолжают губить империалистические монополии США. До сих пор скормленные труженики этих селений вышивают на холстах грустный узор своих печалей, трагедии и надежды. Народ Латинской Америки должен сбросить свое прошлое, опыт народной борьбы за свое будущее. Пришло время для Латинской Америки творить свою историю. Находясь во Вьетнаме, я узнал о победе Никарагуа, и я был окрылен. Начинается подлинная история, творимая народом.

Восемнадцать лет я стал журналистом. Жилось трудно. Случалось много горестного. Никогда не было денег переслать по почте свой материал. Начал писать, сотрудничая в «Эль Эспектадоре», я объездил все уголки моей страны. Покорен был необычайной ее красотой и природными богатствами — золотом и нефтью, каменным углем и железной рудой, хлопком и кофе, сахарным тростником и банановыми плантациями. Услышал множество до того неведомых мне легенд и мифов. И встретил душевно чистых, совестливых и искренних людей. Но они жили в выжженных солнцем селениях, это были люди без надежд, со своим удивительным бытом, нравами, обычаями и поверьями. Был и в краю пустынь и соленых присков, в самой глуши, с одной стороны Карибское море, а с другой — снежная гряда Сьерры-Невады-де-Санта-Марта. Здесь прозябали забытые богом и властями индейцы гуахири. Я окупался в общественную жизнь и открыл, как одни обогащались, другие морально деградировали, и во всем было насилие, религиозное фарисейство, демагогия, пустая болтовня, и тут же они расстреливали безоружную толпу, а в застенках убивали тысячи людей.

Спустя несколько лет я стал корреспондентом этой газеты в Европе. Все пережитое жило во мне и требовало выхода, тогда в Риме, в 1954 году, я стал посещать курсы при экспериментально-кинематографическом центре. Как видите, я не стал сценаристом, но журналистике я обязан всем, она научила устанавливать контакт с реальной жизнью, научила краткости и точности, в газете я не только овладел творческой работой, литературной техникой, но я считаю, что я созрел политически.

Важное событие произошло в 1959 году, когда я стал корреспондентом Пренса Латина в Каракасе, Боготе и Нью-Йорке. Я видел рождение острова Свободы, триумфальное шествие Фиделя Кастро и его соратников в Гаване, и открылись глаза на многие вещи и события. Я увидел мир через увеличительное стекло и осознал, что в мире есть правда и справедливость. Я Кубу посещаю часто, видел ее в 1961 году, в дни агрессии на Плайя-Хирон, в 1962 году во время октябрьского кризиса. Незабываем фестиваль молодежи. Я приехал в Гавану на три дня и оказался среди 30 тысяч молодых людей со всех концов света. Это исключительное событие, когда по-особенному чувствуешь время. Это решающий удар по стене блокады, созданной американским империализмом.

Меня часто спрашивают: вам нравится копаться в старых сундуках? Земля вертится. Жизнь продолжается. Это не просто возвращение на круги своя. Мне

уже стукнуло за пятьдесят. И весь груз выстраданного во мне, но им пропитаны все мои произведения. Кто-то удачно выразился «маркесианский» дух, это, конечно, не образный фантазмагорический мир. Это моя простая человеческая жизнь на земле. Любый писатель вправе выражать неповторимое, самые яркие впечатления и самые грустные в его жизни. Я брал драму людей в их повседневности. Я их показываю таковыми, какие они есть. Для фантастической реальности я беру достоверность, невероятным вещам придаю детали из их окружения.

Я давно не живу в Колумбии, там очень трудно жить. Живя в Барселоне, а сейчас в Мексике, я писал романы о людях, которых хорошо знал. Все, что извлечено из нашей ужасающей подлинной действительности, оно покажется фантастичным, вымышленным. Но это моя Колумбия. Это не означает, что я пишу о людях Колумбии, я пишу о человеке Латинской Америки, поэтому в 1961 году я расстался с Пренса Латина. Три года были отданы сценарию, но ни одному фильму не было суждено появиться на экране. Но я благодарен кино так же, как газете, оно научило меня многому, и все, что не смог сделать как сценарист, я постарался обьять и раскрыть в романах. Я не писал в течение пяти лет. Чего-то не хватало. Чего именно, я не знал. Потом понял: не хватало верного тона. И я его нашел, использовав в «Сто лет одиночества». Это тон, каким рассказывала мне бабушка свои абсурдные истории как совершенно естественные. Повинуясь врожденному чувству восторженного детства, я понял, что следует именно так писать. Близкое, понятное стало необходимым вылиться, я сел за стол и проработал восемнадцать дней без перерыва, отдыха, а порой и без сна. Это были дни наибольшего напряжения, я боялся потерять свои находки. Зримый памятник стародавним временам заставлял осознать непреходящую вечность ценностей добра и мужества. Важно, чтобы было неповторимое, только мое собственное. Очевидно, каждый писатель, сказав свое слово о чем-то, нарушает общепринятый канон.

ПОТРЯСАЕТ ДОСТОЕВСКИЙ глубиной психологической правды в отображении жизни, человеческого духа, своим нравственным содержанием, что забываешь о технике, как написаны его книги, но эти-то откровения не могли произойти без столь безупречной техники, в высшей степени мастерства. С каким-то замиранием я читал Чехова, это тончайшее и искуснейшее искусство, вдохновенный взлет человеческой души, а в конечном счете это огромный, скрупулезный и неустанный труд. Озарение гения у Пушкина. У него определенная система работы. Это как бы внутреннее видение, любой персонаж у него живой характер, свой душевный мир и своя индивидуальность.

Нет любимых писателей, есть любимые книги. Книга дисциплинирует художественное сознание, воспитывает вкус и заставляет работать, когда читаешь хорошую книгу творчески. Я ничего так не люблю, как читать книги. Перечитывая недавно Эсхила, я невольно подумал, какая это вершина, над которой не властно время.

В юности я много читал, а сейчас отдаю чтению только вторую половину дня. У меня четкий распорядок, иначе нельзя. Я стараюсь знать все, о чем пишут другие, стремлюсь быть в курсе всех литературных новинок, но сам предпочитаю перечитывать то, что дорого и люблю.

Жить надо весело, не торопиться. У нас говорят: хоть мала креветка, но она переплывает море. Человеку никогда не поздно совершенствоваться, потому что совершенство не дано человеку, но, занимаясь своим делом добросовестно, он приближается к идеалу настолько, насколько природа наделила его средствами. Важно жить творчески. Важно самоограничение. Самое великое и светлое в человеке — не терять способности удивляться, не составлятьсь преждевременно. Мудрость проста, потому что она понятна всем. Это Софокл, Эсхил, Шекспир, Сервантес, Дефо, Рабле, читая их вновь, странное дело, я нахожу много нового и нужного для раздумья.

Профессия писателя стала одной из самых как бы теперь массовых, но ни в одном деле характер работы так не зависит от личности человека, как в ли-

тературном. Для воздействия на другого человека можно пользоваться только методом доброты.

Когда читаешь книги прошлых веков, они изваяны резцом мастера, там просвечивает монументальность в раскрытии психологического склада героев. И сейчас, оглядываясь, я думаю, где-то я топорен, где-то наивен, если бы писал заново, то было бы все иначе. Я не лукавлю, а из самых лучших побуждений перед вами хочу быть искренним. Считаю, кто умеет бичевать себя и анализировать свое творчество, приносит пользу себе, страшно по чей-то или по своей тупой воле слыть живым классиком.

Любая история, она требует внесения в нее личного, пережитого, именно образное осмысление истории важно в книге. Никто не вечен, и не все те, кто был участником события, и те, кто был очевидцем, они уже покинули этот свет, и мой жизненный опыт подсказывает: надо запечатлеть уходящее прошлое мгновение, и надо научиться предвидеть завтрашний восход солнца, как свежую утреннюю росу, вот тогда, наверное, художник счастлив в своем творчестве, если он это постигает, а высокое совершенство, я думаю, это неустанный труд.

Пишу я трудно, в неделю порой выжимаю две строки. Писать для меня, вот если быть до конца открытым, невероятный труд. Все туго. Но жесткая дисциплина на весь день и иногда ночь письменному столу. Я уподобляюсь ослу, мне важно писать на машинке и вновь перепечатывать, и вновь, и вновь. Но и в то же время нужна невозмутимая неторопливость, потому что я головой погружаюсь в свой творческий процесс, и днем, и ночью я сосредоточен на конкретных художественных задачах. Но я сам знаю, что лучше отдохнуть и на следующий день смогу написать гораздо лучше, а остановить себя не могу.

Я суверен. Пока книга пишется, никому не показываю, и чтобы никто к ней не притронулся. Я никому ее не читаю, из домашних никто не прикасается к моим уже начисто отпечатанным листам.

Повседневные факты, политические движения, общественные события — вот к чему я стремлюсь. Я вынашиваю книгу вместе с языком. Я живу на континенте, где повседневная жизнь — это реальность и миф. Мы рождаемся и умираем в мире фантастической реальности.

Меня, к примеру, поражает и удивляет искусство, сотворенное атеистами, я соприкасаюсь с ним, живя в Мексике. Во Вьетнаме, Японии, Индии я открыл тоже предельную простоту, лаконичность и неисчерпаемую емкость, без подробностей и разъяснений. Древнейшее искусство Азии умудрилось запечатлеть душу буквально обвалом чувств. В Анголе я ощутил благоговение перед африканским искусством, корни которого развезены в странах Карибского бассейна. И ясно осознал, что я в какой-то степени метис, различные культуры переплелись друг с другом, как ветви одного могучего дерева. В Луанде рыбаки чинили сети, сидя на горячем песке, а на берег океан пригоршнями выбрасывал белые ракушки. И во мне проснулись забытые приметы моего детства. Здесь сохранилось все девственным, нетронутым на этом берегу. И я увидел мальчишек, собирающих перламутровые ракушки. Они были такого же возраста, как когда-то я, тоже собиравший их, в том самом далеком детстве. А теперь они, не обращая на меня внимания, начали рисовать. Революция открыла им дорогу в школы, научила их творить, как художников, они одеты, накормлены, не знают нищеты.

Я постоянно живу с песней тревожного сердца, вроде как участник той большой жизни, которая есть на земле. Вернувшись из Анголы в Мексику, я пока व्यю гнезда на чужбине и не могу, как вольная птица, вернуться к своему очагу, садясь за стол, я понял, для того, чтобы писать об Анголе, нужны высокие звуки, под стать нашему времени, чтобы идти с ним в ладу.

А ЗАКОНЧИТЬ СВОЙ долгий рассказ я хочу Советским Союзом, своими впечатлениями от последнего пребывания в вашей стране на Международном кинофестивале, через двадцать два года после Всемирного фестиваля молодежи. Меня потряс город Ленина, «Аврора», Зимний дворец, что ни улица в Ленинграде, то история, имя которой Великий Октябрь. И, возможно, я когда-нибудь тоже смогу бы написать, но, как всегда, у меня долгий период вызревания.

Только теперь я начинаю понимать, что каждое поколение и каждый человек открывает новое для себя, вступая на московскую землю. Она встречает не только позолотой, атрибутами памятников прошлого, но это уже современный европейский город, с широкими улицами, площадями. Москва — это поборник добра и справедливости, и только на этой истерзанной, пережившей не одну трагедию земле, я увидел, как тогда, 22 года тому назад, приветливых, добрых и веселых людей. И особенно проникновенными были выражения чувств ко мне молодыми. И я расстаюсь с Москвой, и, как прежде, где-то боль сердечная, но я им улыбаюсь, всем моим читателям, с которыми я встречался в дни кинофестиваля.

День каждый на планете — это грома аккорд на земле, уже не годится писать струнами арфы, а нужно вторить грому, чтобы не погаснуть, как месяцу ночному, чтобы по всей земле зацвели красные гвоздики Октября. Я твердо верю, что рано или поздно на всей планете будет социализм. И потому у своим читателям через вашу газету рисую символично эту красную гвоздику.

Записала рассказ писателя
МУНСОНЭИ.
Фото Ю. Садовникова.